

День опричника

Автор:

Владимир Сорокин

День опричника

Владимир Георгиевич Сорокин

Пустить красного петуха и поймать золотую рыбку – лишь малая толика того, что должен совершить за день опричник, надежда и опора государства российского. Слово и дело – его девиз, верность начальству – его принцип, двоемыслие – его мораль, насилие – его инструмент. Повесть Владимира Сорокина “День опричника” – это и балаганное действо, способное рассмешить до колик, и неутешительное предсказание. Опричник отлично себя чувствует в сорокинской Москве недалекого будущего – потому что он незаменим.

“День опричника”, впервые изданный в 2006 году, переведен на двадцать языков. В 2013 году повесть вошла в шорт-лист Международной премии Букера.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Владимир Сорокин

День опричника

© Владимир Сорокин, 2006

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017

© ООО “Издательство АСТ”, 2017

* * *

Григорию Лукьяновичу Скуратову-Бельскому по прозвищу Малюта

Сон все тот же: иду по полю бескрайнему, русскому, за горизонт уходящему, вижу белого коня впереди, иду к нему, чую, что конь этот особый, всем коням конь, красавец, ведун, быстроног; поспешаю, а догнать не могу, убыстряю шаг, кричу, зову, понимаю вдруг, что в том коне – вся жизнь, вся судьба моя, вся удача, что нужен он мне как воздух, бегу, бегу, бегу за ним, а он все так же неспешно удаляется, ничего и никого не замечая, навсегда уходит, уходит от меня, уходит навеки, уходит бесповоротно, уходит, уходит, уходит...

Мое мобило будит меня:

Удар кнута – вскрик.

Снова удар – стон.

Третий удар – хрип.

Поярок записал это в Тайном приказе, когда пытали дальневосточного воеводу. Эта музыка разбудит и мертвого.

– Комяга слушает, – прикладываю холодное мобило к сонно-теплому уху.

– Здравы будьте, Андрей Данилович. Коростылев тревожит, – оживает голос старого дьяка из Посольского Приказа, и сразу же возле мобилы в воздухе возникает усато-озабоченное рыло его.

– Чего надо?

– Осмелюсь вам напомнить: сегодня ввечеру прием албанского посла. Требуется обстояние дюжины.

– Знаю, – недовольно бормочу, хотя, по-честному, – забыл.

– Простите за беспокойство. Служба.

Кладу мобило на тумбу. Какого рожна посольский дьяк напоминает мне про обстояние? Ах да... теперь же посольские правят обряд омовения рук. Забыл... Не открывая глаз, свешиваю ноги с постели, встряхиваю голову: тяжела после вчерашнего. Нащупываю колокольчик, трясусь. Слышно, как за стеной Федька спрыгивает с лежанки, суетится, звякает посудой. Сижусь, опустив не готовую проснуться голову: вчера опять пришлось принять по полной, хотя дал зарок пить и нюхать только со своими, клал 99 поклонов покаянных в Успенском, молился святому Вонифатию. Псу под хвост! Что делать, ежели окольникем Кириллу Ивановичу я не могу отказать. Он умный. И горазд на мудрые советы. А я, в отличие от Поярка и Сиволая, ценю в людях умное начало. Слушать премудрые речи Кирилла Ивановича я могу бесконечно, а он без кокоши неразговорчив...

Входит Федька:

– Здравы будьте, Андрей Данилович.

Открываю глаза.

Федька стоит с подносом. Роба его, как всегда с утра, помята и нелепа. На подносе традиционное для похмельного утра: стакан белого квасу, рюмка водки, полстакана капустного рассола. Выпиваю рассол. Щиплет в носу и сводит скулы. Выдохнув, опрокидываю в себя водку. Подступают слезы, размывая Федькину рожу. Вспоминается почти все – кто я, где и зачем. Медлю, осторожно вдыхая. Запиваю водку квасом. Проходит минута Неподвижности Великой. Отрыгиваю громко, со стоном нутряным. Отираю слезы. И теперь вспоминаю уже все.

Федька убирает поднос и, опустившись на колени, подставляет руку. Опираюсь, встаю. От Федьки утром пахнет хуже, чем вечером. Это – правда его тела, и от нее никуда не денешься. Розги тут не помогают. Потягиваясь и кряхтя, иду к иконостасу, затепливаю лампадку, опускаюсь на колени. Читаю молитвы

утренние, кладу поклоны. Федька стоит позади, позевывает и крестится.

Помолившись, встаю, опираясь на Федьку. Иду в ванную. Омываю лицо приготовленной колодезной водой с плавающими льдинками. Гляжусь в зеркало. Лицо опухло слегка, воскрылия носа в синих прожилках, волосы всклокочены. На висках первая седина. Рановато для моего возраста. Но – служба наша такая, ничего не попишешь. Тяжкое дело государственное...

Справив большую и малую нужду, забираюсь в джакузи, включаю программу, откидываю голову на теплый, удобный подголовник. Смотрю в потолок на роспись: девки, собирающие вишню в саду. Это успокаивает. Гляжу на девичьи ноги, на корзины со спелой вишней. Вода заполняет ванну, вспенивается воздухом, бурлит вокруг моего тела. Водка внутри, пена снаружи постепенно приводят меня в чувство. Через четверть часа бурление прекращается. Лежу еще немного. Нажимаю кнопку. Входит Федька с простыней и халатом. Помогает мне вылезти из джакузи, оборачивает простыней, кутает в халат. Прохожу в столовую. Там Танюшка уже сервирует завтрак. На стене поодаль – пузырь вестевой. Даю голосом команду:

– Новости!

Вспыхивает пузырь, переливается голубо-бело-красным флагом Родины с золотым орлом двуглавым, звенит колоколами Ивана Великого. Отхлебнув чаю с малиной, просматриваю новости: на северо-кавказском участке Южной стены опять воровство приказных и земских, Дальневосточная труба так и будет перекрыта до челобитной от японцев, китайцы расширяют поселения в Красноярске и Новосибирске, суд над менялами из Уральского казначейства продолжается, татары строят к Юбилею Государя умный дворец, мозгляки из Лекарской академии завершают работы над геном старения, Муромские Гуслиеры дадут два концерта в Белокаменной, граф Трифон Багратионович Голицын побил свою молодую жену, в январе в Свято-Петрограде на Сенной пороть не будут, рубль к юаню укрепился еще на полкопейки.

Танюшка подает сырники, пареную репу в меду, кисель. В отличие от Федьки, Танюшка благолепна и благоуханна. Юбки ее приятно шелестят.

Крепкий чай и клюквенный кисель окончательно возвращают меня к жизни. Спасительный пот прошибает. Танюшка протягивает мне ею же расшитое

полотенце. Я отираю лицо свое, встаю из-за стола, крещусь, благодарю Господа за пищу.

Пора приступать к делам.

Пришлый цирюльник уже ждет в платяной. Следую туда. Молчаливый, приземистый Самсон с поклоном усаживает меня перед зеркалами, массирует лицо, натирает шею лавандовым маслом. Руки у него, как у всех цирюльников, малоприятные. Но я принципиально не согласен с циником Мандельштамом – власть вовсе не “отвратительна, как руки брадобрея”. Власть прелестна и притягательна, как лоно нерожавшей златошвейки. А руки брадобрея... что поделаешь – бабам наших бород брить не положено. Самсон пускает мне на щеки пену из оранжевого баллончика “Чингисхан”, предельно аккуратно размазывает, не касаясь моей узкой и красивой бороды, берется за бритву, размашисто правит ее на ремне, прицеливается, поджав нижнюю губу, и начинает ровно и плавно снимать пену с моего лица. Смотрю на себя. Щеки уже не очень свежи. За эти два года я похудел на полпуда. Синяки под глазами стали нормой. Все мы хронически недосыпаем. Прошлая ночь – не исключение.

Сменив бритву на электрическую машинку, Самсон ловко поправляет секирообразный островок моей бороды.

Я сурово подмигиваю себе: “С добрым утром, Комяга!”

Малоприятные руки кладут на лицо горячую салфетку, пропитанную мятой. Самсон тщательно вытирает мое лицо, румянит щеки, завивает чуб, лакирует, щедро сыплет на него золотую пудру, вдевает в правое ухо увесистую золотую серьгу – колокольчик без языка. Такие серьги носят только наши. И никакая земская, приказная, стрелецкая, думская или столбовая сволочь даже на маскарад рождественский не посмеет надеть такой колокольчик.

Самсон опрыскивает мою голову “Диким яблоком”, молча кланяется и выходит – он сделал свое цирюльное дело. Тут же возникает Федька. Морда его по-прежнему помята, но он уже успел сменить рубаху, почистить зубы и вымыть руки. Он готов к процессу моего облачения. Прикладываю ладонь к замку платяного шкапа. Замок пищит, подмигивает красным огоньком, дубовая дверь отъезжает в сторону. Каждое утро вижу я все свои восемнадцать платьев. Вид их бодрит. Сегодня обычный будний день. Стало быть – рабочая одежда.

– Деловое, – говорю я Федьке.

Он вынимает платье из шкапа, начинает одевать меня: белое, шитое крестами исподнее, красная рубаха с косым воротом, парчовая куртка с куньей оторочкой, расшитая золотыми и серебряными нитями, бархатные порты, сафьяновые красные сапоги, кованные медью. Поверх парчовой куртки Федька надевает на меня долгополый, подбитый ватой кафтан черного грубого сукна.

Глянув на себя в зеркало, закрываю шкап.

Иду в прихожую, гляжу на часы: 8:03. Время терпит. В прихожей меня уже ждут провожатые: нянька с иконою Георгия Победоносца, Федька с шапкой и поясом. Надеваю шапку черного бархата с соболиной оторочкой, даю себя подпоясать широким кожаным ремнем. На ремне – слева кинжал в медных ножнах, справа “Реброфф” в деревянной кобуре. Нянька между тем крестит меня:

– Андрюшенька, храни тебя Пресвятая Богородица, святой Никола и все Оптинские старцы!

Острый подбородок ее трясется, голубенькие слезящиеся глазки смотрят с умилением. Я крещусь, целую икону святого Георгия. Нянька сует мне в карман молитву “Живый в помощи Вышняго”, вышитую матушками Новодевичьего монастыря золотом на черной ленте. Без этой молитвы я на дела не езжу.

– Победу на супротивных... – бормочет Федька крестясь.

Из черной горницы выглядывает Анастасия: красно-белый сарафан, русая коса на правом плече, изумрудные глаза. По заалевшим ланитам видать: волнуется. Опустила очи долу, поклонилась стремительно, тряхнув высокой грудью, скрылась за косяком дубовым. А у меня сразу всплеск сердечный от поклона девичьего: позапрошлая ночь темнотой парною распахнулась, стоном сладким в ушах ожила, теплым телом девичьим прижалась, зашептала жарко, кровушкой по жилам побежала.

Но – дело поперву.

А дел сегодня – невпроворот. И еще этот посол албанский...

Выхожу в сенцы. Там уж вся челядь выстроилась – скотницы, кухарка, повар, дворник, псарь, сторож, ключница:

– Здрaвы будьте, Андрей Данилович!

Кланяются в пояс. Киваю им, проходя. Скрипят половицы. Отворяют дверь кованую. Выхожу на двор. День солнечный выдался, с морозцем. Снега за ночь подсыпало – на елях, на заборе, на башенке сторожевой. Хорошо, когда снег! Он срам земной прикрывает. И душа чище от него делается.

Щурясь на солнце, оглядываю двор: амбар, сенник, хлев, конюшня, – все справное, добротное. Рвется кобель лохматый на цепи, повизгивают борзые в псарне за домом, кукарекает петух в хлеву. Двор выметен чисто, сугробы аккуратные, как куличи пасхальные. У ворот стоит мой “мерин” – алый, как моя рубаха, приземистый, чистый. Блестит на солнце кабиною прозрачной. А возле него конюх Тимоха с песьей головой в руке ждет, кланяется:

– Андрей Данилович, утвердите!

Показывает мне голову собачью на нынешний день: косматый волкодав, глаза закатились, язык инеем тронут, зубы желтые, сильные. Подходит.

– Валяй!

Тимоха ловко пристегивает голову к бамперу “мерина”, метлу – к багажнику. Прикладываю ладонь к замку “мерина”, крыша прозрачная вверх всплывает. Усаживаюсь на полулежащее сиденье черной кожи. Пристегиваюсь. Завожу мотор. Тесовые ворота передо мной растворяются. Выезжаю, несусь по узкой прямой дороге, окруженной старым, заснеженным ельником. Красота! Хорошее место. Вижу в зеркало свою усадьбу удаляющуюся. Добрый дом, с душой. Всего семь месяцев живу в нем, а чувство такое, что родился и вырос тут. Раньше имение принадлежало товарищу менялы из Казначейского приказа Горохову Степану Игнатьевичу. Когда он во время Великой Чистки Казначейской впал в немилость и оголился, мы его и прибрали к рукам. В то лето горячее много казначейских голов полетело. Боброва с пятью приспешниками в клетке железной по Москве возили, потом секли батогами и обезглавили на Лобном месте. Половину казначейских выслали из Москвы за Урал. Работы много было... Горохова тогда, как и положено, сперва мордой по навозу вывозили, потом рот

ассигнациями набили, зашили, в жопу свечку воткнули да на воротах усадьбы повесили. Семью трогать было не велено. А имение мне отписали. Справедлив Государь наш. И слава Богу.

* * *

Дорога направо сворачивает.

Выезжаю на Рублевый тракт. Хорошая дорога, двухэтажная, десятиполосная. Выруливаю в левую красную полосу. Это наша полоса. Государственная. Покуда жив и при деле Государевом – буду по ней ездить.

Расступаются машины, завидя красный “мерин” опричника с собачьей головой. Рассекаю со свистом воздух подмосковный, давлю на педаль. Постовой косится уважительно. Командую:

– Радио “Русь”.

Оживает в кабине мягкий голос девичий:

– Здравы будьте, Андрей Данилович. Что желаете послушать?

Новости я все уже знаю. С похмелья хорошей песни душа просит:

– Спойте-ка мне про степь да про орла.

– Будет исполнено.

Вступают гуслиеры плавно, бубенцы рассыпаются, колокольчик серебряный звенит, и:

Ой ты, степь широкая,

Степь раздольная,

Широко ты, матушка,

Протянулася.

Ой, да не степной орел

Подымается.

Ой, да то донской казак

Разгуляется.

Поет Краснознаменный Кремлевский хор. Мощно поет, хорошо. Звенит песня так, что слезы наворачиваются. Несется “мерин” к Белокаменной, мелькают деревни да усадьбы. Сияет солнце на елках заснеженных. И оживает душа, очищается, высокого просит...

Ой, да не летай, орел,

Низко по земле,

Ой, да не гуляй, казак,

Близко к берегу!

С песней бы так и въехал в Москву, да прерывают. Звонит Посоха. Его холеная харя возникает в радужной рамке.

– А, чтоб тебя... – бормочу, убирая песню.

– Комяга!

– Чего тебе?

– Слово и дело!

– Ну?

– Осечка у нас со столбовым.

– Как так?

- Крамолу ему ночью не сумели подкинуть.

- Да вы что?! Чего ж ты молчал, куриная голова?

- Мы до последнего ждали, но у него охрана знатная, три колпака.

- Батя знает?

- Не-а. Комяга, скажи ты Бате сам, я стараюсь. Он на меня еще из-за посадских зол. Страшуся. Сделай, за мной не закинет.

Вызываю Батю. Широкое рыжебородое лицо его возникает справа от руля.

- Здравствуй, Батя.

- Здорово, Комяга. Готов?

- Я-то всегда готов, Батя, а вот наши опростоволосились. Не сумели столбовому крамолу подкинуть.

- А и не надо теперь... - Батя зевает, показывая здоровые, крепкие зубы. - Его и без крамолы валить можно. Голый он. Токмо вот что: семью не калечить, понял?

- Понял, - киваю я, убираю Батю, включаю Посоху. - Слыхал?

- Слыхал! - облегченно щерится он. - Слава тебе, Господи...

- Господь тут ни при чем. Государя благодари.

- Слово и дело!

- И не запаздывай, гулена.

- Да я уж тут.

Сворачиваю на Первый Успенский тракт. Здесь лес еще повыше нашего: старые, вековые ели. Много они повидали на своем веку. Помнят они, помнят Смуту Красную, помнят Смуту Белую, помнят Смуту Серую, помнят и Возрождение Руси. Помнят и Преображение. Мы в прах распадемся, в миры иные отлетим, а славные ели подмосковные будут стоять да ветвями величавыми покачивать...

М-да, вон оно как со столбовыми оборачивается! Теперь уже и крамолы не надобно. На прошлой неделе так с Прозоровским вышло, теперь с этим... Круто Государь наш за столбовых взялся. Ну и правильно. Снявши голову, по волосам не плачут. Взялся за гуж – не говори, что не дюж. А коли замахнулся – руби!

Вижу двоих наших впереди на красных “меринах”. Догоняю, сбавляю скорость. Едем цугом. Сворачиваем. Едем еще немного и упираемся в ворота усадьбы столбового Ивана Ивановича Куницына. У ворот восемь наших машин. Посоха здесь, Хруль, Сиволай, Погода, Охлоп, Зябель, Нагул и Крепло. Батя коренных на дело послал. Правильно, Батя. Куницын – крепкий орех. Чтобы его расколоть, сноровка требуется.

Паркуюсь, выхожу из машины, открываю багажник, достаю свою дубину тесовую. Подхожу к нашим. Стоят, ждут команды. Бати нет, значит, я за старшего. Здравуемся по-деловому. Гляжу на забор: по периметру в ельнике – стрельцы из Тайного приказа, нам на подмогу. Обложена усадьба со всех сторон еще с ночи по приказу Государеву. Чтобы мышь зловредная не пробежала, чтобы комар злокозненный не пролетел.

Но крепки ворота у столбового. Поярок звонит в калитку, повторяет:

– Иван Иваныч, открывай. Открывай подобру-поздорову!

– Без думских дьяков не войдете, душегубы! – раздается в динамике.

– Хуже будет, Иван Иваныч!

– Хуже мне уже не будет, пес!

Что верно – то верно. Хуже только в Тайном приказе. Но туда Ивану Ивановичу уж и не надобно. Обойдемся сами. Ждут наши. Пора!

Подхожу к воротам. Замирают опричники. Бью по воротам дубиной первый раз:

- Горе дому сему!

Бью второй раз:

- Горе дому сему!

Бью в третий раз:

- Горе дому сему!

И зашевелилась опричнина:

- Слово и дело! Гойда!

- Гойда! Слово и дело!

- Слово и дело!

- Гойда! Гойда! Гойда!

Хлопаю Поярка по плечу:

- Верши!

Засуетился Поярок с Сиволаем, прилепили шутиху на ворота. Отошли все, заложили уши. Грохнуло, от ворот дубовых – щепка вокруг. Мы с дубинами – в пролом. А там охрана столбового – со своим дрекольем. Огнестрельным оружием запрещено отбиваться, а то стрельцы из лучестрелов своих хладноогненных всех положат. А по Думскому закону – с дрекольем из челяди кто выстоит супротив наезда, тому опалы не будет.

Врываемся. Усадьба богатая у Ивана Ивановича, двор просторный. Есть где помахать. Ждет нас куча охраны да челяди с дрекольем. С ними три пса цепных, рвутся на нас. Биться с такой оравой – тяжелое дело. Договариваться

придется. Надобно хитрым напуском дело государственное вершить. Поднимаю руку:

- Слушай сюда! Вашему хозяину все одно не жить!

- Знаем! - кричит охрана. - От вас все одно отбиваться придется!

- Погоди! Давай поединщиков выберем! Ваш осилит - уйдете без ущерба со своим добром! Наш осилит - все ваше нам достанется!

Задумалась охрана. А Сиволай им:

- Соглашайтесь, пока мы хорошие! Все одно вас вышибем, когда подмога подъедет! Супротив опричнины никому не выстоять!

Посоветовались те, кричат:

- Ладно! На чем биться будем?

- На кулаках! - отвечаю.

Выходит от них поединщик: здоровенный скотник, морда тыквой. Скидывает тулуп, натягивает рукавицы, сопли утирает. Но мы к такому повороту готовы - Погода Сиволаю на руки кафтан свой черный сбрасывает, шапку с куньей оторочкой стряхивает, куртку парчовую скидывает, поводит плечом молодецким, шелком алым обтянутым, мне подмигивает, выступает вперед. Супротив Погоды в кулачном деле даже Масло - подросток. Невысок Погода, но широк в плечах, крепок в кости, хватист да оборотист. Попасть в его харю гладкую трудно. А вот от него в мясо схлопотать - проще простого.

Озорно глядит Погода на соперника, с прищуром, поигрывает пояском шелковым:

- Ну что, сиволапый, готов битым быть?

- Не хвались, опричник, на рать идучи!

Погода и скотник ходят кругами, примериваются. И одеты они по-разному, и в положениях разных, и господам разным служат, а коль приглядеться – из одного русского теста слеплены. Русские люди, решительные.

Встаем кругом, смыкаемся с челядью. На кулачном поприще это в норме. Здесь все равны – и смерд и столбовой, и опричник и приказной. Кулак – сам себе государь.

Посмеивается Погода, подмигивает скотнику, поигрывает плечами молодецкими. И не выдерживает мужик, кидается с замахом кулака пудового. Приседает Погода, а сам скотника – под ложечку коротким тычком. Икнул тот, но выдюжил. Погода снова вокруг танцует, плечами, как девка срамная, покачивает, подмигивает, язык розовый показывает. Скотник танцы не уважает, крякает да опять размахивается. Но Погода упреждает – слева в скулу, справа по ребрам – хлесть! хлесть! Аж ребра треснули. А от кулака пудового снова увернулся. Взревел скотник медведем, замахал кулачищами, рукавицы теряя. Да все без толку: снова под ложечку да и по сопатке – хрясь! Оступается детина, как медведь-шатун. Сцепил руки замком, ревет, рассекает воздух морозный. Да все без толку: хлоп! хлоп! хлоп! Быстрые кулаки у Погоды: вот уж и морда у скотника в крови, и глаз подбит, и нос красную юшку пустил. Летят алые капли, рубинами сверкают на зимнем солнце, падают на снег утопанный.

Мрачнеет челядь. Перемигиваются наши. Шатается скотник, хлюпает носом разбитым, плюется зубным крошевом. Еще удар, еще. Пятится детина назад, отмахивается, как мишка от пчел. А Погода не отстаёт: еще! еще! Точно и крепко бьет опричник. Свистят наши, улюлюкают. Удар последний, зубодробительный. Падает скотник навзничь. Встает ему Погода сапожком фасонистым на грудь, нож из ножен вытягивает да и по морде с размаху – чирк! Вот так. Для науки. По-другому теперь нельзя.

На крови – все как по маслу пройдет.

Стухла челядь. Сиволапый за морду резаную схватился, сквозь пальцы кровушка пробрызгивает.

Убирает нож Погода, сплевывает на поверженного, подмигивает челяди:

– Тю! А морда-то в крови!

Это – слова известные. Их завсегда наши говорят. Сложилось так.

Теперь пора точку ставить. Поднимаю дубину:

– На колени, сиволапые!

В такие мгновенья все сразу видно. Ой, как видно хорошо человека русского! Лица, лица оторопевшей челяди. Простые русские лица. Люблю я смотреть на них в такие мгновенья, в момент истины. Сейчас они – зеркало. В котором отражаемся мы. И солнышко зимнее.

Слава Богу, не замутилось зеркало сие, не потемнело от времени.

Падает челядь на колени.

Наши расслабились, зашевелились. И сразу – звонок Бати: следит из своего терема в Москве:

– Молодцом!

– Служим России, Батя! Что с домом?

– На слом.

На слом? Вот это внове... Обычно усадьбу давленную берегли для своих. И прежняя челядь оставалась под новым хозяином. Как у меня. Переглядываемся. Батя белозубо усмехается:

– Чего задумались? Приказ: чистое место.

– Сделаем, Батя!

Ага. Чистое место. Это значит – красный петух. Давненько такого не было. Но – приказ есть приказ. Его не обсуждают. Командую челяди:

- Каждый по мешку барахла может взять! Две минуты даем!

Те уже поняли, что дом пропал. Подхватились, побежали, рассыпались по своим закутам, хватать нажитое да заодно - что под руку подвернется. А наши на дом поглядывают: решетки, двери кованые, стены красного кирпича.

Основательность во всем. Хорошая кладка, ровная. Шторы на окнах задернуты, да неплотно: поглядывают в щели быстрые глаза. Тепло домашнее там, за решетками, прощальное тепло, затаившееся, трепещущее смертельным трепетом. Ох, и сладко проникать в сей уют, сладко выковыривать оттуда тот трепет прощальный!

Челядь набрала по мешку барахла. Бредут покорно, как калики перехожие. Пропускаем их к воротам. А там, у пролома, стрельцы с лучестрелами дежурят. Покидает челядь усадьбу, оглядывается. Оглянитесь, сиволапые, нам не жалко. Теперь - наш час. Обступаем дом, стучим дубинами по решеткам, по стенам:

- Гойда!

- Гойда!

- Гойда!

Потом обходим его трижды по солнцевороту:

- Горе дому сему!

- Горе дому сему!

- Горе дому сему!

Прилепляет Поярок шутиху к двери кованой. Отходим, уши рукавицами прикрываем. Рванула шутиха - и нет двери. Но за первой дверью - другая, деревянная. Достает Сиволай резак лучевой. Взвизгнуло пламя синее, яростное, уперлось в дверь тонкой спицею - и рухнула прорезь в двери.

Входим внутрь. Спокойно входим. Теперь уже спешка ни к чему.

Тихо внутри, покойно. Хороший дом у столбового, уютный. В гостиной все на китайский манер – лежанки, ковры, столики низкие, вазы в человеческий рост, свитки, драконы на шелке и из нефрита зеленого. Пузыри новостные тоже китайские, гнутые, черным деревом отороченные. Восточными ароматами пованивает. Мода, ничего не поделаешь. Поднимаемся наверх по лестнице широкой, ковром китайским устланной. Здесь родные запахи – маслом лампадным тянет, деревом кондовым, книгами старыми, валерьяной. Хоромы справные, рубленые, конопаченные. С рушниками, киотами, сундуками, комодами, самоварами да печами изразцовыми. Разбредаемся по комнатам. Никого. Неужели сбежал, гнида? Ходим, под кровати дубины суем, ворошим белье, шкапы платяные сокрушаем. Нет нигде хозяина.

- Не в трубу же он улетел? – бормочет Посоха.

- Никак ход тайный в доме имеется, – шарит Крепло дубиной в комод.

- Забор обложен стрельцами, куда он денется?! – возражаю я им.

Подымаемся в мансарду. Здесь – зимний сад, камень, стенка водяная, тренажеры, обсерватория. Теперь у всех обсерватории... Вот чего я понять никак не могу: астрономия с астрологией, конечно, науки великие, но при чем здесь телескоп? Это же не книга гадальная! Спрос на телескопы в Белокаменной просто умопомрачительный, в голове не укладывающийся. Даже Батя себе в усадьбе телескоп поставил. Правда, смотреть ему в него некогда.

Посоха словно мысли мои читает:

- Спотворились столбовые да менялы на звезды пялиться. Чего они там разглядеть хотят? Смерть свою?

- Может, Бога? – усмехается Хруль, стучая дубиной по пальме.

- Не богохульствуй! – одергивает его голос Бати.

- Прости, Батя, – крестится Хруль, – бес попутал...

- Что вы по старинке ищите, анохи! – не унимается Батя. – Включайте “ищейку”!

Включаем “ищейку”. Пищит, на первый этаж показывает. Спускаемся. “Ищейка” подводит нас к двум китайским вазам. Большие вазы, напольные, выше меня. Переглядываемся. Подмигиваем друг другу. Киваю я Хрулю да Сиволаю. Размахиваются они и – дубинами по вазам! Разлетается фарфор тонкий, словно скорлупа яиц огромных, драконьих. А из яиц тех, словно Касторы да Поллуксы, – дети столбового! Рассыпались по ковру горохом – и в рев. Трое, четверо... шестеро. Все белобрысые, погодки, один одного меньше.

– Вот оно что! – хохочет Батя невидимый. – Ишь чего удумал, вор!

– Совсем от страха спятил! – щерится Сиволай на детей.

Нехорошо он щерится. Ну да мы детишек не трогаем... Нет, ежели приказ придавить потрох – тогда конечно. А так – нам лишней кровушки не надобно.

Ловят наши детишек визжащих, как куропаток, уносят под мышками. Там, снаружи, уж из приюта сиротского подкатил хромой целовальник Аверьян Трофимыч на своем автобусе желтом. Пристроит он малышню, не даст пропасть, вырастит честными гражданами великой страны.

На крики детские, как на блесну, жены столбовых ловятся: не выдержала супружница Куницына, завывала в укывище своем. Сердце бабье – не камень. Идем на крик – на кухню путь ведет. Неспешно входим. Осматриваемся. Хороша кухня у Ивана Ивановича. Просторна и по уму обустроена. Тут тебе и столы разделочные, и плиты, и полки стальные да стеклянные с посудой да приправами, и печи замысловатые с лучами горячими да холодными, и хай-тек заморский, и вытяжки заковыристые, и холодильники прозрачные да с подсветкою, и ножи на всякий лад, а посередке – печь русская, широкая, белая. Молодец Иван Иванович. Какая трапеза православная без щей да каши из печи русской? Разве в духовке заморской пироги спекутся, как в печи нашей? Разве молоко так стомится? А хлеб-батюшка? Русский хлеб в русской печи печь надобно – это вам последний нищий скажет.

Зев печной заслонкой медной прикрыт. Стучит Поярок в заслонку пальцем согнутым:

– Серый волк пришел, пирожков принес. Тук-тук, кто в печке прячется?

А из-за заслонки – вой бабий да ругань мужская. Серчает Иван Иванович на жену, что выдала криком. Понятное дело, а то как же. Чувствительны бабы сердцем, за то их и любим.

Снимает Поярок заслонку, берут наши ухваты печные, кочергу да ими из печи на свет Божий и вытягивают столбового с супругою. Обоя в саже поизмазались, упираются. Столбовому сразу руки вяжем, в рот – кляп. И под локти – на двор. А жену... с женой по-веселому обойтись придется. Положено так. Притягивают ее веревками к столу разделочному, мясному. Хороша жена у Ивана Ивановича: стройна телом, лепа лицом, сисяста, жопаста, порывиста. Но сперва – столбовой. Все валим из дому на двор. Там уж ждут-стоят Зябель и Крепло с метлами, а Нагул с веревкой намыленной. Волокут опричники столбового за ноги от крыльца до ворот в последний путь. Зябель с Креплом за ним метлами след заматают, чтоб следов супротивника делу Государеву в России не осталось. На ворота уж Нагул влез, ловко веревку пристраивает, не впервой врагов России вешать. Встаем все под ворота, поднимаем столбового на руках своих:

– Слово и дело!

Миг – и закачался Иван Иванович в петле, задергался, захрипел, засопел, запердел прощальным пропердом. Снимаем шапки, крестимся. Надеваем. Ждем, покуда из столбового дух изыдет.

Треть дела сделано. Теперь – жена. Возвращаемся в дом.

– Не до смерти! – как всегда, предупреждает голос Бати.

– Ясное дело, Батя!

И дело это – страстное, нам очень нужное. От него силы на одоление врагов государства Российского прибавляется. И в деле этом сочном своя обстоятельность требуется. По старшинству надобно начинать и кончать. А стало быть – я первый. Бьется вдовица уже покойного Ивана Ивановича на столе, кричит да стонет. Срываю с нее платье, срываю исподнее кружевное, затейливое. Заламывают Поярок с Сиволаем ей ноги белые, гладкие, холеные, держат на весу. Люблю я ноги у баб, особливо ляжки да пальцы. У жены Ивана Ивановича ляжки бледные, с прохладцей, а пальчики на ногах нежные, складные, с ноготками холеными, розовым лаком покрытыми. Дергаются

Оха-ха... жарко натоплено у столбового. Выхожу из дома на крыльцо, сажусь на лавку. Детишек уж увезли. От скотника побитого-подрезанного на снегу только кровавые брызги остались. Стрельцы топчутся вокруг ворот с повешенным, разглядывают. Достая пачку "Родины", закуриваю. Борюсь я с этой привычкой дурной, басурманской. Хоть и сократил число сигарет до семи в сутки, а бросить окончательно – силы нет. Отец Паисий отмаливал, велел покаянный канон читать. Не помогло... Стелется дымок по ветерку морозному. Солнце все так же сияет, со снегом перемигивается. Люблю зиму. Мороз голову прочищает, кровь бодрит. Зимой в России дела государственные быстрее вершатся, спорятся.

Выходит Посоха на крыльцо: губищи раскатаны, чуть слюна не капает, глаза осовелые, уд свой багровый, натруженный никак в ширинку не заправит. Стоит раскорякой, оправляется. Из-под кафтана книжка вываливается. Поднимаю. Открываю – "Заветные сказки". Читаю зачин вступительный:

В те стародавние времена

на Руси Святой ножей не было,

посему мужики говядину хуями разрубали.

А книжонка – зачитана до дыр, замусолена, чуть сало со страниц не капает.

– Что ж ты читаешь, охальник? – шлепаю Посоху книгой по лбу. – Батя увидит – из опричнины турнет тебя!

– Прости, Комяга, бес попутал, – бормочет Посоха.

– По ножу ходишь, дура! Это ж похабень крамольная. За такие книжки Печатный приказ чистили. Ты там ее подцепил?

– Меня в ту пору в опричнине еще не было. У воеводы того самого в доме и притырил. Нечистый в бок толкнул.

– Пойми, дурак, мы же охранная стая. Должны ум держать в холоде, а сердце в чистоте.

- Понимаю, понимаю... - Посоха скучающе чешет под шапкой свои чернявые волосы.

- Государь ведь слов бранных не терпит.

- Знаю.

- А знаешь - сожги книгу похабную.

- Сожгу, Комяга, вот те крест... - Он размашисто крестится, пряча книжку.

Выходят Нагул и Охлоп. Покуда дверь за ними затворяется, слышу стоны вдовы столбового.

- Хороша стервь! - Охлоп сплевывает, заламывает на затылок мурмолку.

- Не укатают ее до смерти? - спрашиваю, гася окурок о скамью.

- Не, не должны... - Широколицый улыбчивый Нагул сморкается в кем-то любовно расшитый белый платок.

Вскоре появляется Зябель. После круговухи он всегда взволнован и многословен. Зябель, как и я, с высшим образованием, университетский.

- Все-таки как славно сокрушать врагов России! - бормочет он, доставая пачку "Родины" без фильтра. - Чингисхан говорил, что самое большое удовольствие на свете - побеждать врагов, разорять их имущество, ездить на их лошадях и любить их жен. Мудрый был человек!

В пачку "Родины" лезут пальцы Нагула, Охлопа и Зябеля. Достая свое огниво фасонное, холодного огня, даю им прикурить:

- Что-то вы все на чертово зелье подсели. Знаете, что табак навеки проклят на семи камнях святых?

- Знаем, Комяга, - усмехается Нагул, затягиваясь.

– Сатане кадите, опричники. Дьявол научил людей курить табак, дабы люди воскурения делали ему. Каждая сигарета – фимиам во славу нечистого.

– А мне один расстрига говорил: кто курит табачок, тот Христов мужичок, – возражает Охлоп.

– А у нас в полку сотник повторял всегда: “Копченое мясо дольше хранится”, – вздыхает Посоха и тоже берет сигарету.

– Дураки вы стоеросовые! Государь наш не курит, – говорю им. – Батя тоже бросил. Надо и нам чистоту легких блюсти. И уст.

Молча курят, слушая.

Дверь отворяется, вываливаются остальные с женой столбового. Выносят ее голую, бесчувственную в тулупе овчинном. Нашим бабу укатать – дело своеобычное.

– Жива?

– От этого редко помирают! – улыбается Погода. – Это ж не дыба!

Беру ее руку безвольную. Пульс есть.

– Так, бабу – родне подкинуть.

– Знамо дело.

Уносят ее. Пора и точку ставить. Поглядывают опричники на дом: богат, добром полон. Но коли усадьба на слом по Государеву указу списывается, грабить нельзя. Закон. Все добро – Государеву красному петуху достанется.

Киваю Зябелю, он у нас по огненным делам:

– Верши!

Достает он из кобуры свой “Реброфф”, насаживает на ствол насадку в форме бутылки. Отходим от дома. Целится Зябель в окно, стреляет. Звякнуло окошко. Еще подале отходим от дома. Встаем полукругом, вынимаем кинжалы из ножен, поднимаем вверх, опускаем, на дом врага нацелившись:

- Горе дому сему!

- Горе дому сему!

- Горе дому сему!

Взрыв. Пламя густое, клубящееся – из окон. Летят осколки, рамы да решетки, падают на снег. Занялась усадьба. Вот и пришел к ней в гости Государев красный петух.

- Молодца! – Батино лицо возникает в морозном воздухе в рамке радужной. – Стрельцов отпустить, а самим – на молебен в Успенский!

Конец – делу венец. Сделал дело – молись смело.

Выходим за ворота, уклоняясь от повешенного. А за воротами стрельцы вестников отпихивают. Стоят те со своими аппаратами, рвутся пожар снимать. Теперь уже можно. С Новостным приказом у нас теперь, после достопамятного ноября, лады. Машу сотнику рукой. Целятся аппараты на пожар, на повешенного. В каждом доме, в каждом пузыре вестевом знают и видят люди православные силу Государя и государства. Понимают Слово и дело.

Как говорил Государь наш:

“Закон и порядок – вот на чем стоит и стоять будет Святая Русь, возрожденная из Серого пепла”.

Святая правда!

* * *

В Успенском соборе, как всегда, темно, тепло и торжественно. Горят свечи, блестят золотые оклады икон, дымится кадило в руке узкоплечего отца Ювеналия, звучит тонкий голос его, басит чернобородый толстый дьякон у клироса. Стоим мы тесными рядами – вся московская опричнина. Тут и Батя, и Ероха, правая рука его, и Мосол, рука левая. И коренные все, меня включая. И костяк основной. И молодежь. Только Государя нет. Обычно по понедельникам оказывает он нам милость – приходит помолиться с нами вместе. Но сегодня – нет солнца нашего. Весь Государь в делах государственных. Или – в церкви Ризположения, храме своем домашнем, молится за Святую Русь. Государева воля – закон и загадка. И слава Богу.

Обычный день сегодня, понедельник. И служба обычная. Прошло Крещение, поехали на санях по Москва-реке, опускали крест в прорубь-ердань под беседкою серебряной, еловыми лапами увитой, крестили младенцев, сами окунались в ледяную воду, палили из пушек, кланялись Государю и Государыне, пировали в Грановитой со свитой кремлевской и Кругом Внутренним. Теперь до Сретения – никаких праздников, сплошные будни. Дела надобно делать.

“Да воскреснет Бог и расточатся врази его...” – читает отец Ювеналий.

Крестимся мы и кланяемся. Молюсь любимой иконе своей – Спасу Ярое Око, трепещу под неистовыми очами Спасителя нашего. Грозен Спаситель, непреклонен в Суде своем. От его очей суровых сил на борьбу набираюсь, дух свой укрепляю, характер воспитываю. Ненависть к врагам накапливаю. Ум-разум оттачиваю.

И да рассеются врази Бога и Государя нашего.

“Победы на супротивныя даруй...”

Супротивных много, это верно. Как только восстала Россия из пепла Серого, как только осознала себя, как только шестнадцать лет назад заложил Государев батюшка Николай Платонович первый камень в фундамент Западной стены, как только стали мы отгораживаться от чуждого извне, от бесовского изнутри – так и полезли супротивные из всех щелей, аки сколопендрии зловредные. Истинно – великая идея порождает и великое сопротивление ей. Всегда были враги у государства нашего, внешние и внутренние, но никогда так яростно не обострялась борьба с ними, как в период Возрождения Святой Руси. Не одна

голова скатывалась на Лобном месте за эти шестнадцать лет, не один поезд увозил за Урал супостатов и семьи их, не один красный петух кукарекал на заре в столбовых усадьбах, не один воевода пердел на дыбе в Тайном приказе, не одно подметное письмо упало в ящик Слова и Дела на Лубянке, не одному меняле набивали рот преступно нажитыми ассигнациями, не один дьяк искупался в крутом кипятке, не одного посланника иноземного выпроваживали на трех желтых позорных “меринах” из Москвы, не одного вестника спустили с башни Останкинской с крыльями утиными в жопе, не одного смутьяна-борзописца утопили в Москва-реке, не одна вдовица столбовая была подброшена родителям в тулупе овчинном нагою-бесчувственной...

Каждый раз, стоя в Успенском со свечкою в руке, думаю я думаю тайную, крамольную об одном: а если б не было нас? Справился бы Государь сам? Хватило бы ему стрельцов, да Тайного приказа, да полка Кремлевского?

И шепчу себе сам, тихо, под пение хора:

- Нет.

* * *

Трапеза сегодня будничная, в Белой палате.

Сидим за столами длинными, дубовыми, непокрытыми. Подают слуги квас сухарный, щи суточные, хлеб ржаной, говядину разварную с луком да кашу гречневую. Едим, о планах негромко переговариваемся. Покачиваются колокольцы наши беззвучные. У каждого крыла опричного планы свои: кто в Тайном приказе сегодня занят, кто в Умном, кто в Посольском, кто в Торговом. У меня нынче три дела.

Первое - с шутами-скоморохами разобраться, утвердить новый номер концерта праздничного.

Второе - погасить звезду.

Третье - слетать к ясновидящей Прасковье Тобольской с поручением.

Сижу на своем месте, четвертым от Бати справа. Почетное место, нажитое. Ближе меня к нему справа токмо Шелет, Самося да Ероха. Крепок, осанист Батя, моложав лицом, хоть и седой совсем. Когда трапезничает – смотреть приятно: неторопливо ест, обстоятельно. Батя – фундамент наш, корень главный, дубовый, на котором вся опричнина держится. Ему Государь первому доверил Дело. На него во времена сложные, для России судьбоносные, оперлась пята Государева. Первым звеном в опричной цепи железной стал Батя. А за него и другие звенья уцепились, спаялись, срослись в опричное Кольцо Великое, шипами острыми вовне направленное. Этим Кольцом и стянул Государь больную, гнилую и разваливающуюся страну, стянул, словно медведя раненого, кровью-сукровицей исходящего. И окреп медведь костью и мясами, залечил раны, накопил жира, отрастил когти. Спустили мы ему кровь гнилую, врагами отравленную. Теперь рык медведя русского на весь мир слышен. Не токмо Китай с Европой, но и за океаном к рыку нашему прислушиваются.

Вижу – мигает красным мобило у Бати. За трапезой запрещены разговоры опосредованные. Мобилы все отключаем. Красный сигнал – Государево дело. Подносит Батя мобило свое червонного золота к уху, звякает оно о колоколец:

– Слушаю, Государь.

Смолкли враз все в трапезной. Токмо голос Бати:

– Да, Государь. Понял. Сию минуту будем, Государь.

Встает Батя, обводит нас быстрым взглядом:

– Вогул, Комяга, Тягло, со мной.

Ага. По голосу Бати чую – стряслось что-то. Встаем, крестимся, выходим из трапезной. По выбору Бати понимаю – умное дело предстоит. У всех выбранных – университетское образование. Вогул в Свято-Петрограде учился казначейскому делу, Тягло – в Нижнем Новгороде по книжному производству подвизался, а я в опричнину ушел с третьей ступени исторического отделения Московского государственного университета имени Михайла Ломоносова. Да и не ушел... В опричнину не уходят. Ее не выбирают. Она тебя выбирает. Или, точнее, как говорит сам Батя, когда подохнет-понюхает: “В опричнину вносит, как волной”. Ох, как вносит! Так внесет, что голова закружится, кровушка в жилах закипит, в

очах сполохи красные замелькают. Но и вынести может волна та. Вынесет в одночасье, бесповоротно. Вот это – хуже смерти. Из опричнины выпасть – все одно что обе ноги потерять. Всю жизнь потом не ходить, а ползать придется...

На двор выходим. От Белой палаты до Красных Государевых хором – рукой подать. Но сворачивает Батя к нашим “меринам”. Значит – не в Кремле толковать будем. Рассаживаемся по машинам. Батин “мерин” знатный – широк, глазаст, приземист, стекло в три пальца толщиной. Китайскими мастерами сделан добротнo, что у них называется тэцодэ – исполненный по спецзаказу. На бампере голова овчарки, на багажнике метла стальная. Выруливает Батя к Спасским воротам. Пристраиваемся за ним. Выезжаем из ворот через кордон стрелецкий. Едем по Красной площади. Сегодня торговый день, лотошники почти всю площадь заняли. Зазывалы кричат, сбитенщики посвистывают, калашники белят, китайцы поют. Погода солнечная, морозная, снежка за ночь подвалило. Весело на главной площади страны нашей, музыкально. Мальчиком видал я совсем другую Красную площадь – суровую, строгую, пугающую, с гранитной орясиной, в которой лежал труп учинителя Красной Смуты. А рядом тогда лепилось кладбище приспешников его. Мрачная картина. Но Государев батюшка орясину гранитную снес, труп смутьяна косоглазого в землю закопал, кладбище ликвидировал. Затем стены кремлевские побелить приказал. И стала главная площадь страны по-настоящему Красной, красивой. И слава Богу.

Выруливаем к гостинице “Москва”, едем по Моховой мимо “Национальной”, мимо театров Большого и Малого, мимо “Метрополии”, выезжаем на Лубянскую площадь. Так и думал, что в Тайном приказе разговор пойдет. Едем по площади вокруг памятника Малюте Скуратову. Стоит родоначальник наш бронзовый, снегом припорошенный, сутулый, невысокий, кряжистый, длиннорукий, смотрит пристально из-под нависших бровей. Из глубины веков смотрит на нашу Москву недреманным оком Государевым, смотрит на нас, наследников опричного Дела Великого. Смотрит и молчит.

Подруливаем к левым воротам, сигналит Батя. Отворяют ворота, въезжаем во внутренний двор Приказа, приторачиваемся, вылезаем из “меринов”. И входим в Тайный приказ. Каждый раз, когда вхожу под своды его, серым мрамором обделанные, с факелами да крестами строгими, сердце перебой делает и стучит уже по-другому. Другим стуком, особым. Стуком Тайных Дел государственных.

Встречает нас сотник бравый, подтянутый, в мундире голубом, честь отдает. Сопровождает к лифтам, везет на самый верхний этаж. В кабинет начальника

Тайного приказа князя и близкого друга Государева Терентия Богдановича Бутурлина. Входим в кабинет – первым Батя, потом мы. Встречает нас Бутурлин. Батя с ним за руку здоровается, мы – в пояс кланяемся. Серьезно лицо у Бутурлина. Приглашает он Батю, усаживает, сам напротив садится. Встаем мы за спиной у Бати. Грозное лицо у начальника Тайного приказа. Не любит шутить Терентий Богданович. Зато любит блюсти сложное и ответственное Дело, заговоры раскрывать, шпионов-предателей излавливать, крамолу изводить. Сидит он молча, на нас поглядывая, четки костяные перебирая. Потом произносит слово:

– Пасквиль.

Молчит Батя, выжидает. Замерли и мы не дыша. Смотрит Бутурлин на нас испытующе, добавляет:

– На Государеву семью.

Заворочался Батя в кресле кожаном, нахмурил брови, захрустел пальцами крепкими. Мы за ним стоим как вкопанные. Дает команду Бутурлин, опускаются шторы на окнах кабинета. Полумрак наступает. Снова дает команду начальник Приказа Тайного. И в полумраке возникают-повисают слова, из Сети Русской вытянутые. Горят, переливаются в темноте:

Доброжелательный аноним

Оборотень на пожаре

Ищут пожарные,

Ищет полиция,

Ищут священники

В нашей столице,

Ищут давно,

Но не могут найти
Графа какого-то
Лет тридцати.
Среднего роста,
Задумчиво-мрачный,
Плотно обтянут
Он парюю фракной.
В перстне
Брильянтовый еж у него.
Больше не знают
О нем ничего.

Многие графы
Задумчиво-мрачны,
Стильно обтянуты
Парюю фракной,
Любят брильянтов
Заманчивый дым –
Сладкая жизнь
Уготована им!

Кто же,
Откуда
И что он за птица –
Граф тот,
Которого

Ищет столица?

Что натворил

Этот аристократ?

Вот что в салонах

О нем говорят.

Ехал

Однажды

“Роллс-ройс”

По Москве –

С графом угрюмым,

Подобным сове:

Хмуро он щурился, мрачно зевая,

Что-то из Вагнера

Напевая.

Вдруг граф увидел –

Напротив

В окне

Бьется маркиза

В дыму и огне.

Много столпилось

Зевак на панели.

Люди злорадно

На пламя смотрели:

Дом родовой

Был охвачен огнем –

Люди богатые

Жили ведь в нем!

Даром не тратя

Ни доли минуты,

Бросился граф

Из “роллс-ройса” уюта –

Мрачному быдлу

Наперерез –

И по трубе

Водосточной

Полез.

Третий этаж,

И четвертый,

И пятый...

Вот и последний,

Пожаром объятый.

Жалобный крик

Раздается и стон –

Пламя лизнуло

Изящный балкон.

Бледно-нагая,

В окне, как на сцене,

Бьется маркиза
В причудливой пене
Сизого дыма;
И сполох огня
Белую грудь
Озаряет ея.

Граф подтянулся
На дланях нехилых
И головою в стекло
Что есть силы
Грохнул с размаху.
Осколков разлет
Молча приветствовал
Нижний народ.

Снова удар –
Содрогается рама.
Граф переплет
Сокрушает упрямо,
Лезет в окно,
Разрывая свой фрак.
Шепчут зеваки:
– Безумец... дурак...

Вот и в окне

Он возник. Распрямился,
Обнял маркизу,
К манишке прижал.
Дым черно-серый
Над ними клубился,
Красный огонь
Языками дрожал.

Сдавлены пальцами
Женские груди,
К нежным губам
Граф со стоном припал.
Видела чернь,
Углядели и люди:
Фаллос чудовищный
В дыме восстал!

Видели люди,
Смотрящие снизу,
Как, содрогаясь,
Вошел он в маркизу,
Как задрожали,
Забились в окне
Граф и она,
Исчезая в огне!
С дымом мешается

Облако пыли –

Мчатся пожарные

Автомобили.

Пятится чернь,

“Фараоны” свистят,

Каски пожарных

На солнце блестят.

Миг – и рассыпались

Медные каски.

Лестницы тянутся ввысь.

Без опаски

Парни в тефлоне –

Один за другим –

Лезут по лестницам

В пламя и дым.

Пламя сменяется

Чадом угарным,

Гонит насос

Водяную струю.

Старый лакей

Подбегает к пожарным:

“Барыню, братцы, спасите мою!”

“Нет, – отвечают

Пожарные дружно, –

Барыня в доме

не обнаружена!

Все осмотрели мы,

Все обошли,

Вашей маркизы

Нигде не нашли!”

Плачет лакей,

Рвет обвислые баки,

Пялятся люди

На черный балкон...

Вдруг раздается

Визг старой собаки,

Переходящий

В мучительный стон.

Все обернулись –

“Роллс-ройс”, отъезжая,

Пса раздавил.

А в кабине... мелькнул

Сумрачный профиль.

И тихо растаял.

Только

Брильянтовый ежик сверкнул!

Замерло быдло
На мокрой панели.
Люди “роллс-ройсу”
Вдогонку глядели –
Вдаль уезжал
Дорогой лимузин
С шелестом нежно
Хрустящих резин...

Ищут пожарные,
Ищет полиция,
Ищут священники
В нашей столице,
Ищут давно
И не могут найти
Графа какого-то
Лет тридцати.

Вы, господа, в Малахитовом зале

Этого оборотня не повстречали?

Гаснет последняя строка. Исчезает-растворяется крамольная поэма в темном воздухе. Подымаются шторы. Сидит молча Бутурлин. На Батю устремляет очи карие. Оглядывается Батя на нас. Ясно как день, в кого этот пасквиль метит. По глазам нашим видит Батя, что нет тут сомнений никаких: угрюмый граф этот с брильянтовым ежом в перстне – не кто иной, как граф Андрей Владимирович Урусов, зять Государев, профессор судейского права, действительный академик Российской академии наук, почетный председатель Умной палаты, председатель Всероссийского конного общества, председатель Общества содействия воздухоплаванию, председатель Общества русского кулачного боя, товарищ

председателя Восточного казначейства, владелец Южного порта, владелец Измайловского и Донского рынков, владелец строительного товарищества “Московский подрядчик”, владелец предприятия “Московский кирпич”, совладелец Западной железной дороги. А намек на Малахитовый зал тоже понятен: новое это помещение, под Кремлевским залом концертным отстроенное для отдыха Внутреннего Круга и приближенных. Новое, а поэтому – модное. Да и строительство зала Малахитового много крамольных вопросов вызывало. Были, были супротивники...

– Все ясно, опричники? – спрашивает Бутурлин.

– Ясно, князь, – отвечает Батя.

– Дело за малым: найти пасквилянта.

– Сыщем гниду, никуда не денется, – кивает Батя.

И, задумчиво теребя небольшую бороду свою, спрашивает:

– Государь знает?

– Знает, – раздается державный голос, и мы все склоняемся в низких поклонах, касаясь правой рукой паркета.

Лик Государя возникает в воздухе кабинета. Краем глаза замечаю золотую, переливающуюся рамку вокруг любимого узкого лица с темно-русой бородкой и тонкими усами. Распрямяемся. Государь смотрит на нас своими выразительными, пристальными, искренними и пронизательными серо-голубыми глазами. Взгляд его неповторим. Его не спутаешь ни с каким другим. И за взгляд этот я готов не колеблясь отдать жизнь свою.

– Читал, читал, – произносит Государь. – Ловко написано.

– Государь, мы найдем пасквилянта, заверяю вас, – произносит Бутурлин.

– Не сомневаюсь. Хотя, признаться, Терентий Богданович, меня не это волнует.

– Что же вас волнует, Государь?

– Меня, дорогой мой, волнует – правда ли все то, что описано в поэме сей?

– Что именно, Государь?

– Все.

Задумывается Бутурлин:

– Государь, затрудняюсь ответить сразу. Позвольте глянуть сводку пожарной управы?

– Да не надобно никакой пожарной сводки, князь. – Прозрачные глаза Государя пронизывают Бутурлина. – Нужно свидетельство очевидца происшествия.

– Кого вы имеете в виду, Государь?

– Героя поэмы.

Умолкает Бутурлин, переглядывается с Батей. Желваками ходят широкие скулы Бати.

– Государь, мы не вправе допрашивать членов семьи вашей, – произносит Батя.

– Да я и не заставляю вас никого допрашивать. Я просто хочу знать – правда ли все то, что там написано?

Снова молчание наполняет кабинет. Только переливается красками радужными светлый образ Государев.

– Ну что ж вы приумолкли? – усмехается господин наш. – Без меня дело нейдет?

– Без вас, Государь, никакое дело не пойдет, – склоняет лысоватую голову опытный Бутурлин.

– Ладно, будь по-вашему, – вздыхает Государь. И громко произносит: – Андрей!

Секунд пятнадцать проходят, и справа от лика Государя в фиолетово-синей рамочке возникает небольшое изображение графа Урусова. По осунувшемуся, тяжелому лицу графа ясно, что читана уж им поэма сия, и читана не единожды.

– Здравствуйте, батюшка. – Граф склоняет свою большую, ушастую голову на короткой шее, с узким лбом и крупными чертами лица; каштановые волосы на его макушке редки.

– Здравствуй, здравствуй, зятек. – Серо-голубые глаза смотрят невозмутимо. – Читал поэму про себя?

– Читал, батюшка.

– Неплохо написано, черт возьми? А мои академики талдычат – нет у нас хороших поэтов!

Молчит граф Урусов, поджав узкие губы. Рот у него, как у лягушки, широк больно.

– Скажи нам, Андрей, правда ли это?

Молчит граф, потупив взор, вдыхает, сопит и выдыхает осторожно:

– Правда, Государь.

Теперь и сам Государь задумался, нахмурил брови. Стоим все, ждем.

– Так, значит, ты и впрямь любишь есть на пожарах? – спрашивает Государь.

Кивает головой тяжелой граф:

– Правда, Государь.

– Вот оно что... Слухи до меня и раньше доходили, но я им не верил. Думал – клеветают твои завистники. А ты, значит, вот каков...

– Государь, я вам сейчас все объясню...

– Когда это у тебя началось?

– Государь, клянусь вам всеми святыми, клянусь могилой матери моей...

– Не клянись, – произносит Государь вдруг так, что у нас у всех волосы шевелятся.

И не крик это, и не скрежет зубовой, а действует – как щипцы каленые. Страшен гнев Государев. А еще страшнее, что никогда Государь наш голоса не повышает.

Граф Урусов не робкого десятка мужчина, муж государственный, воротила, миллионщик из миллионщиков, охотник заядлый, на медведя принципиально только с рогатиной ходит, но и тот пред голосом сим белеет, словно гимназист второй ступени перед директором.

– Рассказывай, когда ты впервые предался пороку сему.

Облизывает граф свои пересохшие губы лягушачьи:

– Государь, это... это началось совсем случайно... даже как-то вынужденно. Хотя, конечно, я виноват... только я... только я... это мой грех, мой, простите...

– Рассказывай по порядку.

– Я расскажу. Все расскажу, ничего не утаю. В семнадцатилетнем возрасте... шел я по Ордынке, увидел – дом горит, а в доме – кричит женщина. Пожарные еще не приехали. Люди меня подсадили, влез я в окно, чтобы помочь ей. И как она мне бросится на грудь... Не знаю, Государь, что со мной случилось... затмение какое-то нашло... да и женщина, скажем прямо, не красавица, среднего возраста... в общем... я... в общем...

– Ну?

– В общем, я овладел ею, Государь. Еле нас вытащили потом из огня. А после случая того сам не свой я сделался – только про то и вспоминал. А через месяц в Свято-Петроград поехал, иду по Литейному – квартира горит на третьем этаже. Тут меня ноги сами понесли – выломал дверь, откуда силы взялись – не знаю. А внутри там – мать с ребенком. Прижимает его к груди, вопит в окно. Ну я к ней сзади и пристроился... А потом через полгода в Самаре казначейство загорелось, а мы с батюшкой покойным на ярмарку приехали, и, стало быть...

– Довольно. Чей дом в последний раз горел?

– Княгини Бобринской.

– Почему этот рифмоплет называет русскую княгиню маркизой?

– Не ведаю, Государь... Вероятно, из ненависти к России.

– Ясно. Теперь скажи честно: ты этот дом нарочно поджег?

Замирает граф, словно змеей укушенный. Опускает рысьи глаза свои. Молчит.

– Я тебя спрашиваю – ты дом сей поджег?

Вздыхает тяжело граф:

– Врать не смею вам, Государь. Поджег.

Молчит Государь. Потом молвит:

– Пороку твоему я не судья – каждый из нас перед Богом за себя в ответе. А вот поджога я тебе не прощу. Пшел вон!

Исчезает лик Урусова. Остаемся мы вчетвером наедине с Государем. Печально чело его.

– М-да... – вздыхает Государь. – И эдакой скотине я доверил дочь свою.

Молчим мы.

– Вот что, князь, – продолжает Государь. – Дело это семейное. Я сам с ним разберусь.

– Как прикажете, Государь. А что с пасквилянтом делать?

– Поступайте по закону. Хотя... не надо. Это может возбудить нездоровое любопытство. Скажите ему просто, чтобы он впредь не писал ничего подобного.

– Слушаюсь, Государь.

– Спасибо всем за службу.

– Служим отечеству! – кланяемся мы.

Образ Государя исчезает. Мы облегченно переглядываемся. Бутурлин прохаживается по кабинету, качает головой:

– Мерзавец Урусов... Так осрамиться!

– Слава Богу, что не нам это расхлебывать, – оглаживает бороду Батя. – А кто все-таки автор?

– Сейчас узнаем. – Бутурлин подходит к столу, садится в рабочее кресло. Дает команду голосом: – Писателей ко мне!

Тут же в воздухе кабинета возникает 128 лиц писателей. Все они в строгих коричневых рамочках и расположены-выстроены аккуратным квадратом. Над квадратом сим парят трое укрупненных: седобородый председатель Писательской палаты Павел Олегов с неизменно страдальческим выражением одутловатого лица и два его еще более седых и угрюмо-озабоченных заместителя – Ананий Мемзер и Павло Басиня. И по скорбному выражению всех трех рыл понимаю, что непростой разговор ожидает их.

– Мы пойдем, Терентий Богданович, – Батя князю руку протягивает. – Писатели – ваша забота.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.me/ru/sorokin_vladimir/den-oprichnika

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)